**Владислав ОТРОШЕНКО**

**Волжский мужичок, или Вечный Горький**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Октябрь» 1997, №12**](http://magazines.russ.ru/october/1997/12/)

***Нечаянные страницы***

Владислав ОТРОШЕНКО

**Волжский мужичок,**

**или Вечный Горький?**

**С** очень маленькой долей шутки он называл меня “эстетствующим казаком”. Он так и начал однажды свое эссе обо мне, напечатанное в “Новом книжном обозрении” в середине 90-х: “Владислав Отрошенко — настоящий, природный русский казак...” — а закончил рассуждениями о мо-ем “эстетстве”, “склонности к изощренным мистификациям” и “двойничестве”, “которое до добра не доводит”.

Помню, как я досадовал, когда мне нужно было выдернуть какую-нибудь фразочку из этого эссе Павла Басинского для задней саморекламной обложки моей книги “Персона вне достоверности”, выходившей тогда в Италии. Подходящая фразочка была, но заканчивалась она неудобоваримо: “...и приходится верить автору на слово, что, впрочем, весьма приятно, ибо словом он владеет не хуже, чем шашкой”. Какой шашкой?! Что за бред?! Это же можно понять и перевести только буквально!.. Нет, мой образ (“эстетствующий и казачий вместе”) никак не укладывался в его голове, набитой множеством взлелеянных им красочно-лубочных картинок. Ему так и хотелось видеть меня этаким бравым есаулом с шашкой, в синих шароварах, на донском жеребце и в усах... Но усы были как раз-таки у него. И были неотлучные очки с выпуклыми стеклами. И была какая-то залихватская, смачная и кичливая простота во всем, что бы он ни делал — опрокидывал ли рюмочку водки в доме графа Владимира Толстого в Ясной Поляне, парился ли в баньке под Ярославлем в кругу господ сочинителей, съехавшихся на литературное совещание в лесной пансионат старорежимных профсоюзов, или выносил суждения о преимуществах реализма: “Вот посмотри, Отрошенко, какие могучие и красивые бороды у Варламова с Павловым. А почему? Потому что они настоящие русские реалисты!”

Какая-то мудреная затея судьбы видится мне сейчас в истории нашего знакомства. Был какой-то временной провал в этой истории.

Я отчетливо помню, что познакомился с Басинским во второй половине 80-х. Нас познакомил Александр Сегень, только что опубликовавший тогда роман “Похоронный марш”. Роман был превосходный, проникнутый юмором, мудрой иронией, искренностью,— о 60-х годах, о детстве, о смехотворности призрачно величественных образов — Империи, Государства, Космонавта Гагарина, Белки и Стрелки, Чего Бы То Ни Было — перед лицом таинственного факта самоценного человеческого бытия... Словом, изящный был роман, да и сам Сегень был тогда изящным, далеким от всякой хмурой политики художником, в котором мне было симпатично все — и его нежно-звучная венгерская фамилия, и до крайности странные, с немыслимыми пробелами под висками бакенбардики, похожие на утренние пеЂристые облака, и его манера письма, раскованная, жизнерадостная, затаенно лукавая, с шальными искорками художнического идиотизма.

Помню, прочитав “Похоронный марш”, я тут же позвонил Сегеню, и мы долго говорили о его романе. А при встрече в ЦДЛ он показал мне рецензию в “Новом мире”. Не помню, хорошо или плохо (на мой “казачье-эстетствующий” взгляд) она была написана, но странным и приятно неожиданным образом рецензия совпадала с тем, что почувствовалось мне в “Похоронном марше”. Я попросил Сегеня познакомить меня с автором. И знакомство тут же состоялось, потому что автор, как-то виновато сутулясь,— да вы, мол, не обращайте на меня внимания, господа столичные сочинители, пейте, кушайте, а я тут, где-нибудь с краю, присяду — двигался от буфетной стойки, неся в одной руке графинчик с водочкой, в другой закусочку — скипетр и державу лубочного российского литератора всех времен.

Сегень поманил его, приглашая сесть за наш столик. Он все так же виновато приблизился, долго извинялся за что-то и, наконец, сел... Внутренняя скованность, доходившая до внешних проявлений (вид такой, будто лямки волжского бурлака врезаются в плечи), подавленность, недоверчивость — вот все, что я тогда увидел в Басинском. Но знакомство состоялось. И оно на первый взгляд казалось прочным. Во-первых, потому что кое-какой взаимоволнующий разговор все ж таки завязался. Во-вторых, мы были ровесниками и находились в том возрасте (нам было лет по двадцать восемь), когда начинающие литераторы знакомством друг с другом весьма дорожат. И, в-третьих, мы оба были из провинциальных городов, что как-то сближало нас, хотя мой город носил когда-то звание столицы и выгодно отличался от его героического, но угнетающе серого Волгограда, которому могли только сниться щеголеватые старинные парки, триумфальные арки, атаманские дворцы, кафедральный собор в полнеба и прочие пышные творения великих итальянских и русских архитекторов, в обилии уцелевшие в Новочеркасске, где в самом центре, на Московской, стоял отстроенный по проекту Бельтрами дом моего предка, квартирмейстера Области войска Донского, превращенный в кинотеатр с обидным для меня названием “Победа”... Впрочем, нет, давно уже не обидным, ибо эти метаморфозы относятся ко временам чересчур прошедшим.

Однако же и то время, о котором теперь идет речь, тоже не стояло на месте.

Время шло, наступили 90-е годы, изменившие многое (во всяком случае, познакомивший нас писатель сбрил свои маленькие ветреные бакенбарды и воевал за Великие Образы и за Что-то Там Еще в “Нашем современнике”), а знакомство мое с Басинским, с виду основательное, оставалось каким-то... никаким. Мы, может быть, виделись иногда. Конечно же, виделись, и даже, наверное, часто — круг общих знакомых был уже весьма широким; приветствовали друг друга при встречах, связывались по телефону... Но я почти не помню его до того времени, когда я познакомился как бы уже с другим Басинским, который если и имел что-то общее с простоватым волжским мужичком, то это “что-то” было теперь артистичным, осознанным, куражливо-вольным, как исполнение классической роли, отточенное на большой столичной сцене.

Разумеется, я не могу сейчас с твердой уверенностью обозначить случай, который послужил вехой этого обновленного знакомства. Но припоминается мне вот что. Году в девяносто пятом я написал статью о Гоголе... Да нет! Какую там статью! Это был чисто художественный текст, ловко притворяющийся литературоведческим исследованием. Кое-что я позволил себе придумать за Гоголя, надеясь на его лукавую снисходительность, кое-что — за современников Гоголя, кое-что — за издателей и корректоров его бессмертных творений. Ключевое же понятие своих рассуждений — якобы историческое, якобы древнеиндийское (“Авьякта Парва” — “Непроявленная Книга”) — я смело позаимствовал у одного крупного шарлатана, профессора Лютер Колледжа, не считая нужным ссылаться на его химерические труды, поскольку этот американский ученый русского происхождения всем своим существованием был обязан моей повести “Тайны жалонерского искусства, или Разоблачение д-ра Казина”, главным персонажем которой он и являлся. Словом, в тексте скрытно присутствовало все то, что Басинский если не клеймил, то считал “до добра не доводящим”... Ясно, что с моей стороны было бы нелепо (и даже неделикатно) представлять для рассмотрения столь ветреный труд в степенную “Литературную газету”, где именно Басинский уже не первый год и с неуемной энергией, свойственной омосковившимся провинциалам, вдохновлялся должностью старшего редактора (отдела) русской литературы. Я предполагал опубликовать эссе в газете “Сегодня”, чей отдел искусства, возглавляемый Борисом Кузьминским, славился тогда жизнерадостной утонченностью и изысканной раскованностью. Там, по крайней мере, рассуждал я, меня не спросят (в отличие от “Литературки”, где тогда еще существовал некий “отдел сверки” цитат с источниками): а откуда это вы взяли, к примеру, вот эти “воспоминания”... или вон те “изречения”?..

И действительно, Борис Кузьминский, знавший до этого кое-какие мои тексты и даже как-то раз наградивший одну мою повесть чрезвычайно лестным для авторского тщеславия словечком “шедевр”, принял материал к публикации без всяких вопросов. Требовалось только срочно придумать какой-нибудь “врез”, необходимый для ежедневной газеты; что-то вроде: “Сегодня, 15 сентября 1995 года, исполняется столько-то лет с того дня, когда Гоголь...” Что — Гоголь? Ну что? — мучился я, не находя никакой связи между теми событиями, которые приходятся в разные годы на эту дату в академических хрониках жизни Гоголя, и содержанием моего эссе. И промучился бы еще долго, если бы не забрел ко мне нечаянно Олег Шишкин, который тогда блистательно и бурно сотрудничал с “Сегодня” и о котором пойдет еще речь ниже (скажу лишь, забегая вперед, что один только его рассказ “Дизель Дизель” извиняет все темные стороны его загадочной натуры, казавшейся кое-кому откровенно клоунской).

Шишкин быстро пробежал своими черными блескучими глазами, из которых так и сыпали искорки веселого безумства, “Хронологическую канву жизни и творчества Н. В. Гоголя” и без всяких рассуждений предложил написать во “врезе”, что 15 сентября 1995-го исполняется 151 год с того дня, когда Гоголь закончил морские купания в Остенде. Я отчаянно возражал, говоря, что это чистое шутовство; что эссе мое, несмотря ни на какие вымыслы, и серьезное, и глубокое, и драматическое, и даже в некотором смысле трагическое, и я не хочу, чтобы на его подмостках залихватски выплясывал такой вот балаганный “врез”-скоморох! На что Шишкин мне, в свою очередь, отвечал, что “врез”, во-первых, совершенно в стиле “Сегодня”, во-вторых, никто, кроме него, Шишкина, на этот “врез” даже внимания не обратит, а в-третьих, нет ничего шутовского в том, что Гоголь, принимая морские купания в Остенде, исцелял свои тонкие расстроенные нервы... В общем, я написал “врез”, упомянул в нем “тонкие расстроенные нервы”, которые хоть как-то протягивались зыбкими ниточками к содержанию эссе, и с шишкинской оказией отправил написанное в газету.

На следующий день Шишкин позвонил мне и сказал, что все отлично, эссе поставлено в номер на 15 сентября вместе с литографическим (тисненным Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге) портретом Гоголя из моей коллекции. Я обрадовался, успокоился и тут же занялся окончанием повести “По следам дворцового литавриста”, которая своей неподатливостью, кажется, и утончила мои нервы до такой степени, что я должен был приступить если не к морским купаниям, то к разрешению таинственного вопроса, почему 14 декабря 1848 года Гоголь солгал П. М. Щепкину, что он полностью окончил второй том “Мертвых душ”...

Да, я успокоился. Но не прошло и трех дней, как в доме моем сверкнула молния, то есть явился быстрый, как молния, Шишкин. И прозвучало раскатами грома слово “НЕМЗЕР”. Что — Немзер? “Немзер,— ответствовал Шишкин,— это тебе, знаешь ли, не лукаво-снисходительный Гоголь!” Впрочем, если не лукавостью, то некоторой капризностью, свойственной Гоголю, литературный критик Немзер, по слухам, обладал. И для газеты “Сегодня” середины 90-х годов он был такой же фигурой, какой мог быть, ну, скажем, для шевыревского “Москвитянина” сам Гоголь, надумай он вдруг поступить туда на службу. Гоголь бы, конечно, не сделался в таком случае главным редактором, он бы, пожалуй, закапризничал. Да и Немзер в газете “Сегодня” вовсе не был главным редактором — нет, он был там просто Главным. Возлюбленным Главным. Главным Литератором. И вот этот Главный, прознав, что Борис Кузьминский собирается печатать эссе о Гоголе, затребовал текст к своему высочайшему столу на просмотр, потому что, во-первых, “как это так?!” и, во-вторых, “как это так?!”, а в-третьих (о чем я узнал позднее от писателя Игоря Кузнецова), Немзер смотрел на XIX век в целом и на Гоголя в частности как на особую, вверенную ему епархию, где он обязан бдительно следить за порядком.

Борис Кузьминский, видимо, предчувствуя, что разговор по поводу не совсем “епархиального” Гоголя будет не из приятных, отправил к Немзеру Олега Шишкина, приставив его к моему эссе в качестве адвоката, что было, конечно же, большой промашкой, ибо в глазах Немзера Шишкин, который с боем печатал в газете свои скандально странные художественные произведения, выдавая их то за насущную журналистику, то за искусствоведческие статьи, мог быть только подсудимым, подельником или на крайний случай лжесвидетелем.

Полистав в присутствии Шишкина эссе, Немзер объявил ему свое прокурорское заключение, смысл которого состоял в следующем: “врез” абсолютно клоунский, эссе тоже клоунское, да и сам Шишкин — клоун... Как!! Как он вообще посмел подсовывать Немзеру чье-то там эссе да еще всерьез ходатайствовать тут за него, когда ходатайствовать ему нужно за свои фиглярские заметки, которым место в корзине!! Да, а поскольку шишкинских заметок у Немзера в ту минуту под рукой не было, то в корзину полетело мое эссе — во всяком случае, оно полетело туда в фигуральном смысле, хотя энергичные жесты Шишкина, передававшего мне сцену в лицах, подразумевали именно буквальный смысл, который, быть может, и имел место, не могу сказать... Однако могу сказать другое: в тот день, когда я вошел со вторым экземпляром эссе к Басинскому в “ЛГ”, я чувствовал себя промотавшимся барином-фанфаронишкой, который явился-таки из пышных столиц в деревеньку просить на шампанское и новые бланжевые перчатки у ехидно прижимистого старосты-мужичка. “На перчатки, батюшка, может быть, и дам, потому как перчатки вашим благородиям завсегда нужны, а вот с шампанским, кормилец, придется погодить: неурожай, недоимки!.. Не угодно ли взять на водочку-с?” — так и слышалось мне.

Но в реальности через неделю до моего уха долетели из телефонной трубки такие вот слова: “Слушай, Влад, классная вещь. Мы ее печатаем”. “А как же отдел сверки?” — “Уладим...”

Я был тронут: ничего клоунского в этом эссе, опубликованном в “Литературке” под названием “”Авьякта Парва“: призрак последней точки в творениях Гоголя”, а затем в петербургском журнале “Постскриптум”, Басинский не увидел, а увидел то, что виделось мне самому и тем, кто потом отзывался об этом тексте печатно и устно,— серьезную и отчаянную попытку проникнуть в тайный смысл некоторых поступков и изречений Гоголя.

В “Литературной газете” я стал бывать гораздо чаще, чем раньше. Время от времени там выходили мои статьи, рассказы.

В общении с Басинским я стал находить для себя что-то очень необходимое, какой-то крепкий, ободрительный дух, каким веяло, быть может, на одного моего родовитого предка, когда в детстве его украдкой вывозил из дома поохотиться на Аксайском займище или поиграть в айданы на базарной площади (а то и хватить там на пару с барчонком рюмку-другую под ароматные соленья) станичный дядька-казачок, подменявший иногда болезного французского гувернера.

Я открывал в Басинском все новые и новые неизвестные мне черты. Я, например, очень скоро заметил, что некоторое внешнее сходство с Алексеем Максимовичем Горьким (по мнению многих, случайное — в силу особой формы усов) критик приобрел вовсе не случайно. Нет! Он старательно культивировал в себе это внешнее сходство, доводя его до внутреннего укоренения, до воровства повадок. Стоило только кому-нибудь бросить вскользь: “Паша, ну, ты вылитый Горький!” — как Басинский поднимал руку к усам и, степенно оглаживая их сверху вниз, отвечал: “Но это же хОрОшО, пОнимаете, хОрОшО...” — а вслед за этим пускался в какие-нибудь демагогические литературные поучения, не замечая, что “оканье” постепенно исчезает и поучает уже собственно критик Басинский. Он исподволь поощрял это шутейное сравнивание себя с Горьким, старательно создавая на московской почве какой-то — древнеиндийского, что ли, свойства — миф о том, что Басинский — это аватара вездесущего и вечного Горького.

И миф возник. Миф приобрел размах, монументальность. Дело дошло до того, что студенты Литинститута, где Басинский что-то преподавал, замазали известкой надпись на постаменте под институтским памятником Горькому и нацарапали: “П. В. Басинский”. Помню, как он рассказывал мне об этом приключении, как журил студентов: вот же, мол, сукины дети, что выдумали! Но я-то отлично видел, что сквозь толстые стекла его старомодно-конторских очков так и льется, так и плещет глубокое удовлетворение.

Критик, конечно же, и не подозревал, что с мифом шутить нельзя, что любой миф способен управлять реальностью так же успешно, как и сознанием самого мифотворца. Ведь он был певцом и приверженцем реализма, воображавшим, пожалуй, что миф в жизни — это только бесплотный призрак, а миф в искусстве — это всего лишь случайный пассажир великого бронепоезда — могучего бронепоезда русской реалистической литературы, который победоносно несется сквозь столетия, рассыпая жгучие искры проникновенных глаголов, и которым мужественно управляют, сменяя друг друга, бородатые машинисты: вон на том перегоне — Федор Достоевский, а вот на этом — Алексей Варламов, а дальше — Олег Павлов... Да, но то, что случилось однажды под Ярославлем в замшелом пансионатике имперских профсоюзов, о котором я, кажется, упоминал, носило уже сверхмифический характер, или, лучше сказать, характер мифа, полностью осуществленного в реальной действительности.

Пансионат этот, где зимой 1996 года затеялось на старинный манер совещание молодых литераторов (Басинский вместе с Игорем Золотусским руководил там единственным семинаром критики, я с Русланом Киреевым — одним из очень многих семинаров прозы), находился в чудесном лесу, на берегу реки, неподалеку от некрасовского имения. Небольшая территория пансионата мистически завораживала своим заповедным видом. Это был настоящий музей наглядного социалистического реализма под открытым небом. Повсюду какие-то ободрительные лозунги советской эпохи, стилистику которых я уже не в состоянии передать, профили пролетарских мудрецов, предъявленные в битве с капитализмом, словно три туза в “Буре” или “Триньке”, счастливые лица всевозможных трудящихся на живописно облупленных стендах, какие-то благодарственные частушки, в которых ловко помянуты и солнце, и воздух, и КПСС, белые статуи дискометательниц с громадными непорочными ягодицами, старинные лавочки с высокими спинками, закрученными на манер океанских волн,— все утоплено в чистом снегу, в неистощимой тишине. Ну, и была там, конечно же, скульптура Горького. Очень странная, надо сказать, скульптура. Она сиротливо стояла, обратившись лицом к реке, где-то поодаль от центральной аллеи, возле бильярдного павильона, и в общем-то ничем особенным не выделялась на фоне зимнего пейзажа, ибо не уступала в белизне ярославскому снегу. Однако все почему-то замедляли шаг, проходя мимо этого произведения безвестного скульптора, и всматривались в знакомое, но как будто бы не совсем узнаваемое лицо с какой-то необъяснимой зачарованностью и изумлением, пока однажды кто-то из господ сочинителей, кажется, Петр Алешковский, не остановил жестом раскинутых рук компанию семинарских начальников, неторопливо двигавшуюся в вечерних сумерках из баньки.

— Постойте! Да это же Ницше! Фридрих Ницше, ей-Богу! — воскликнул он, указывая на скульптуру горлышком лунно прозрачной бутылки, припасенной “на легкий пар”.

— Ну, конечно же, Ницше!.. Ницше!.. Вылитый Ницше!.. А я-то думаю, на кого же он здесь похож! — послышалось со всех сторон.

И тут вдруг голос подал Басинский.

— А что? — молвил он, пожимая плечами.— Я и на Ницше похож... Всегда был похож.

Такое замечание, кажется, всех удовлетворило. Компания двинулась дальше, уже спокойно рассуждая о том, что, ну да, конечно же, Горький всегда был похож на Ницше и даже нарочно старался на него походить... Я же остолбенел. Подумать только! Он ведь даже не сказал “мы с Горьким”, он сказал просто “я”, и этого уже никто не заметил! Вот он, миф, нечувствительно породнившийся с реальностью! Вот он, призрак, одевшийся во плоть под ярославской полной луной!..

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в натуре Басинского таились какие-то особые, внеличностные свойства, которые и заставляли окружающих постоянно сравнивать его с кем-то. Однако не всякие сравнения он поощрял. Помню, однажды, в разгар традиционной предновогодней встречи авторов в отделе русской литературы “ЛГ” (был канун 1996 года), кто-то из друзей-литераторов — то ли поэт Игорь Меламед, то ли литературовед Дмитрий Бак — проделал довольно ловкую шутку. Пока Басинский курил где-то в коридоре, официальная вывеска на дверях отдела была преображена. Под прозрачный пластик была подсунута бумажка с аккуратно написанным на ней буквосочетанием “ел”, так, что оно закрывало собою буквосочетание “ас” в фамилии “Басинский”,— получилось “Белинский”. Басинский посмеялся вместе со всеми над этой проказой, но тут же строго распорядился навести порядок в содержании таблички, потому как место, мол, присутственное, а не шутейное! Однако дело тут было вовсе не в особенностях места — литинститутский памятник Горькому тоже ведь стоял в каком-никаком, но присутствии! Дело было в особенностях времени. Как раз незадолго до этого Басинский сам сравнил с “железным Виссарионом” того, с кем он долгое время пикировался на страницах столичных газет,— критика Андрея Немзера. И сравнение это прозвучало чересчур драматично, чтоб усмотреть в нем что-то случайное. В чем заключалась его закономерность, я, кажется, теперь разгадал и могу об этом сказать. Однако замечу предварительно, что в дуэлянтских отношениях Басинский состоял в то время не только с Немзером, но и со многими критиками. Другое дело, что дуэлянтство это было вовсе не свирепым; нет, оно было достаточно церемонным, в нем даже присутствовал некоторый оттенок театральности — особенно это касается перепалок Басинского с Вячеславом Курицыным, с которым он работал бок о бок в отделе русской литературы “ЛГ” (в середине 90-х годов Курицын исполнял там завидную должность какого-то вольноприходящего сотрудника). Ярко загримировавшись: один — под циничного и шального повесу, апологета постмодернизма, другой — под благонравного и степенного мужа, защитника всяческой традиционности, Басинский и Курицын, как два театральных дуэлянта, вступали на четвертую полосу “ЛГ” и, целясь друг в друга из бутафорских мушкетов, картинно сходились к барьеру, коим служила горизонтальная или вертикальная типографская линейка. Звучали хлопки якобы роковых выстрелов. Басинский притворялся, что он смертельно ранен в самое сердце, Курицын делал вид, что пуля Басинского пролетела мимо его уха. Публика аплодировала. Занавес опускался. А за кулисами один добродушно похлопывал по плечу другого — ну-ну, хорошо, мол, сегодня сыграл, шельмец!..

Нет, я не могу сказать, что Басинский находился с Курицыным в совершенно уж дружеских отношениях. Он просто входил в положение Курицына. А положение Курицына было таково, что он должен был принимать на столичной сцене весьма определенную позу, ибо слава его как тончайшего ценителя “нетрадиционных текстов” и деятельного исследователя “постмодернистской ситуации” в литературе явилась, кажется, в столицу раньше, чем сам Курицын из Екатеринбурга. Он должен был оправдывать эту славу. Должен был брать на себя неблагодарный, но по-своему благородный труд оценивать с литературно-критической точки зрения продукты жизнедеятельности какого-нибудь расчетливого гражданина, какого-нибудь В. Сорокина, который отлично понимал, что без таких донкихотских натур, как Вячеслав Курицын, без некоторых конвенциональных понятий, бескорыстно пущенных в ход этими натурами, он обречен оставаться тем, кем он и был всегда — не автором каких-то там романов, якобы сотворенных в пику “соцреализму”, а любознательным мужичком-экспериментатором, звучно испортившим воздух на публике с задней мыслью “Что будет?”. Да ничего особенного: поморщатся, отвернутся, войдут в положение... или, может быть, попросят выйти вон, в туалетную комнату, если, конечно, это озвученное действие организма не будет сопровождаться громким скандированием разноязыкого обывателя: “Гор-ба-чьёф!! Пэ-рэ-строй-ка!!” — и если затем не явится, возмещая пламенному гражданину своими концептуальными статьями огорчительную пропажу политического контекста, Вячеслав Курицын или какой-нибудь иной простодушный мечтатель и не скажет: “Постойте, господа! Давайте разберемся! Вонь, быть может, и воняет. Но слово-то “вонь” — это только ряд букв, предполагающий чистый процесс чтения,— чистого чичиковского Петрушку!”

Оттенок театральности присутствовал, сколько я помню, и в дуэлях Басинского с Немзером. Но то, что эти дуэли закончатся вовсе не театрально, никто не ожидал. Не ожидал этого, по-моему, и сам Басинский, хотя такое с ним случалось часто: наступал момент, когда старый партнер становился ему чем-то неугоден. И тогда Басинский, не предупреждая ни публику, ни партнера, менял в последний момент за кулисами бутафорский мушкет на маузер, заряженный боевыми патронами, и, словно персонаж совсем “не той оперы” — словно октябрьский комиссар в классической (а не в какой-нибудь авангардной) постановке “Евгения Онегина”,— проворно выбегал на сцену, чтоб сделать свой выстрел.

Так было с Немзером... Это был выстрел жестокий, беспощадный и даже, на мой взгляд, бесчеловечный... но Бог тут Басинскому судья... Статья была целиком посвящена Немзеру. Она занимала целую полосу в “ЛГ” и называлась “Человек с ружьем”. Немзера Басинский не просто сравнивал с полупомешанным Виссарионом Григорьевичем, он на каждом шагу ловил Немзера за руку, доказывая с необыкновенной язвительностью, что тот пытается создать в литературе свой особый, немзеровский, диктаторский порядок — такой порядок, в котором любое слово Немзера означает для писателя Свет, а молчание Немзера — Тьму; что Немзер, теряя рассудок, уже маниакально верит в этот порядок, уже живет в искаженной реальности, уже не видит, какие дикие противоречия вкрадываются в его критические оценки, уже не замечает нелепости своего положения — Человека с ружьем. В статье было проанализировано все — и менторский тон Немзера, и методы бредового возвеличивания Фигуры Критика, то есть самого себя, и его неопартийность, которая ставит себе, как и старая добротная большевистская партийность, шизофреническую задачу управлять литературным процессом... Басинский просто убивал Немзера наповал... Но почему именно убивал? Почему — наповал? Почему так старательно и так бессердечно? Да потому, что Немзер — могу сказать теперь это с полной ответственностью — был здесь совершенно ни при чем. В Немзере Басинский отчетливо видел нечто такое, что было присуще ему самому. Он отчаянно пытался уничтожить в себе что-то или кого-то... Он убивал, в сущности, самого себя, своего неотступного двойника, или, лучше сказать, одного из своих двойников — истинного и главного двойника, ибо Басинский-Горький, Басинский-Белинский были существами вполне фантасмагорическими и комическими. Но вот Басинский-Немзер — это было явление столь же реальное, сколь и драматическое... Да, двойничество, которое Басинский приписывал мне, преследовало на самом деле его, и притом с гораздо большей яростью, чем мое гипотетическое, так сказать, художественное двойничество.

Но и склонность к мистификациям, увы, не миновала критика.

Я отлично помню, как однажды мартовским полднем 1995 года я зашел в “ЛГ” вычитать свою вещь, выходившую под рубрикой “Рассказ конца века”. Басинский сидел в своем кабинете и с таинственной деловитостью что-то внушал Алле Латыниной. По выражению ее лица было видно, что у нее имеются какие-то сомнения относительно того, в чем ее убеждает Басинский. Однако мое появление, как будто оно было случайным, но удачным аргументом в пользу Басинского, вдруг переменило ее настроение.

— Ну, хорошо,— согласилась она с чем-то.— Вот и Владислав как раз...

— Что “хорошо”, Паша? И почему я “как раз”? — спросил я, когда Латынина удалилась в свой кабинет напротив.

Из ответа Басинского мне стало ясно, что речь идет о мистификаторском материале, содержание и форму которого он и обсуждал с Аллой Латыниной (что касается Латыниной, то я должен заметить здесь, в необязательных скобках, что и она имела некоторую склонность к мистификациям; во всяком случае, через ее отдел и с ее приветливого согласия мне удавалось публиковать в “ЛГ” кое-какие статьи от имени персонажа моей повести “Прощание с архивариусом” Сергея Кутейникова, который позволял себе подвергать тщательному критическому разбору целые книги, якобы выпущенные в свет его собратьями по призрачности — персонажами других писателей, например, Петром Безобразовым, чью деятельную натуру вывел в свет Игорь Кузнецов).

— Ну, и какого же свойства обман? — спросил я у Басинского равнодушно-ласковым тоном доктора, обращающегося к новоиспеченному пациенту.

Как и всякий новичок, Басинский повел речь о чем-то совершенно несусветном. Он предложил разом ухнуть что-нибудь монументальное — взять да и выдумать, будто отыскался неведомый вариант знаменитого письма Белинского к Гоголю, прямо противоположный по смыслу; весело сочинить это липовое письмецо да еще опубликовать его в первоапрельском номере!

Я тут же сказал, что, во-первых, любая мистификация в первоапрельском номере — это не мистификация, а жалкий балаган, дозволенный календарем; во-вторых, письмо Белинского к Гоголю, не отвечающее истинной природе адресанта и никаким — даже затаенно-возможным — историческим обстоятельствам,— это грубость и вздор!

— И что же ты предлагаешь? — спросил Басинский.

— Я предлагаю, если речь идет о первоапрельском номере, делать его так, как он и делался у вас всегда,— с шуточками и прибауточками... а вот если ты договоришься с Латыниной, а Латынина, в свою очередь, с вашим высоким начальством, то в самом обычном, будничном номере можно дать на целую полосу блок очень любопытных материалов.

Говоря это, я сам еще не знал, какие именно материалы можно дать.

— Послушай, Паша, ты хорошо знаешь историю литературно-номенклатурной жизни советских времен? — спросил я (он знал ее не просто хорошо, а знал как-то нежно, любовно, как бы тоскуя в душе по тем временам, когда фигура критика была судьбоносной и судьборешающей).

— Ну, знаю,— ответил он с неискренним равнодушием.

— А скажи, могла ли литературным чиновникам шестидесятых годов прийти в голову такая бредовая мысль — заманить в СССР Набокова? Нет, не пригласить его на казнь, а просто залучить его на родину... принять в Союз писателей СССР, дать ему дачку, льготы, гарантировать ему терпеливое уважение и т. д., и т. п.

Басинский как-то важно и осторожно задумался, как если бы он был каким-нибудь секретарем Союза советских писателей, каким-нибудь Марковым... Я же ощущал себя в этот момент тайным инструктором ЦК КПСС, явившимся не то с провокационной, не то с директивной идейкой, спущенной с партийных небес: пусть, мол, погадает.

— Могла! — вдруг воскликнул Басинский.— И совсем это не бредовая мысль! Бунина не залучили! С Куприным вышла одна предсмертная суета. А тут уже шестьдесят седьмой год! — фантазировал он, воодушевляясь все больше и больше.— В эмиграции уже нет более значительной фигуры, чем Набоков!.. Они его ненавидят! Они готовы его задушить! Но надо принять в Союз писателей. Для пропаганды... Потому что так решила партия!.. Постой, тут же еще есть достоверные детали,— не унимался Басинский,— какой-то советский вояжер привез Набокову в шестьдесят седьмом году современные снимки его имений... Он еще стихи об этом написал. Помнишь?.. “С серого севера вот пришли эти снимки”.

— А зачем этот таинственный вояжер привез ему снимки, как ты думаешь, Паша?

— Ну, как — зачем? Напомнить о родине, разжалобить.

— Да, конечно,— подхватил я.— Это же был тот самый выездной литератор-агент, которого послали к Набокову в Монтрё, чтобы он там его обхаживал, намекал ему о возвращении, уговаривал...

— Точно. А послали его туда,— добавлял Басинский,— после специального, закрытого заседания секретариата СП СССР...

Так, слово за слово, был создан проект газетной полосы, где должны были быть представлены во множестве разнообразные материалы: стенограмма заседания секретариата СП (ее с каким-то неистовым удовольствием брался писать Басинский), отчеты литератора-агента о поездках к Набокову в Монтрё, а также выданные этому агенту инструкции относительно характера и привычек Набокова, его распорядка дня и прочих житейских и психологических тонкостей (это все надлежало сделать мне), ну и, конечно же, самое главное — письмо Набокова из Монтрё в Нью-Йорк к его сестре Елене Сикорской, в котором он с щедрой деталировкой и с ерническим изумлением описывает потуги “советского гастролера” выполнить задание.

— А кто напишет это письмо? — тревожно спросил Басинский.— Кто напишет так, чтобы ни один филолог не усомнился в его подлинности?

В то время это мог сделать только один человек — Евгений Лапутин, с которым меня связывала весьма старинная дружба. Многие из тогдашних литераторов, между прочим, знали только одного Лапутина — утонченного романиста, появляющегося на литературной публике гораздо реже, чем на страницах “толстых” журналов. И многие думали, что держит он себя так скрытно из-за какого-то капризного высокомерия... Впрочем, и оно было в его натуре, не доверявшей никакой случайной задушевности. Но дело было вовсе не в капризах, а в том, что существовал и другой Лапутин, тот же самый, но другой,— Лапутин, у которого не было ни минуты свободного времени, который ездил на дорогих автомобилях, был щегольски одет, благоухающе выбрит, оснащен спутниковым телефоном, где гостили голоса кинозвезд, банкиров, всевозможных “львов” и “львиц” московского света,— такой Лапутин, которого называли исключительно Евгением Борисовичем и который был самым модным в Москве пластическим хирургом. Но был, разумеется, и просто Женя, который в помятых шортах и куцей футболке, со щетиной на бледных щеках сидел под яркой лампой на кухне и сочинял какой-нибудь новый роман — “Приручение арлекинов” или “Мои встречи с Огастесом Кьюницем”, изысканная стилистика которых способна была убедить, что он встречается для утонченных бесед и с самим Набоковым в какой-нибудь неощутимой реальности.

Вот этот-то ветреный Женя и сфабриковал письмо Набокова — сочинил его так проникновенно и так выверенно, что Набокову, воскресни он неурочно, пришлось бы, пожалуй, припомнить, что он действительно написал это письмо, вот только события, изображенные в нем, запамятовались. “А раз запамятовались, то надобно их придумать”,— добавил бы еще Набоков, который, как уверял меня Лапутин, и сам бы, раздухарившись, принял участие в этой мистификации по поводу своей персоны.

В марте 1995 года блок “архивных” материалов под общим названием “Как Набокова принимали в Союз писателей” вышел в свет.

За рубежом на эту “сенсацию”, насколько мне известно, было немало откликов. Материал был помпезно перепечатан в какой-то мюнхенской газете, о чем нам сообщил московский корреспондент другой немецкой газеты “Зюд Дойче Цайтунг” Томас Урбан. При встрече он рассказывал с радостным ужасом, что поверил во все подчистую и уже отправил полосу “ЛГ” с соответствующими комментариями для перепечатки в своей газете,— но успел остановить перепечатку в последний момент, когда случайно заметил маленькое несоответствие (уступку Латыниной газетному начальству): в верхнем колонтитуле пятой полосы стояла еще не наступившая дата 1.IV.95, контрабандно проникшая в будничный мартовский день...

Одно только огорчало мистификатора Басинского — что не было “внутренних” откликов. Публика равнодушно поверила в вымысел, и более ничего. “Вот какая сейчас апатия! Вот какое безразличие к литературе и ее истории! Вот это-то я и хотел доказать!” — восклицал Басинский.

Что ж, он был склонен не только мистифицировать читателей, но и придумывать задним числом какие-то “общественные задачи” для этих выходок.

Его самой фантастической эстетской выходкой было изощренное уничтожение книги с моими рассказами в 1996 году. Он готовил тогда сборник русской прозы для какого-то кельнского издательства и попросил у меня мои рассказы. Я дал ему их в книжном виде, с тем чтобы он снял ксерокопию. Когда же я позвонил ему через некоторое время и попросил вернуть книгу, он ответил мне буквально следующее:

— Понимаешь, Влад, тут такая история случилась. Моя собачка... ну, такая маленькая комнатная собачка... я недосмотрел за ней — лежал на диване... а она вот сгрызла книгу... ну, съела, понимаешь?.. Там же клейстер, а он, знаешь, аппетитно пахнет для собачки...

Что я мог ответить на это? Ничего. Я мог только подумать с грустью: “Вот он! Вот он, настоящий московский барин-эстет! Лежит себе на диване! Окружил себя книжками! Собачками! — мать их так!.. И собачки у него там поедают сочинения “настоящего, природного русского казака”... А где же природный волжский мужичок?.. Нет его уже! Нет!”

•